Там, где поёт тень

Повесть о Федерико Гарсиа Лорке



18+

Автор Шпетная Наталья

Наталья Шпетная
Там, где поёт тень

https://litres.ru/74447112
SelfPub; 2026

Аннотация

Это повесть о Федерико Гарсиа Лорке – человеке, который слышал музыку в земле, в женском плаче, в топоте лошадей, в детских считалках и в молчании перед смертью. Его жизнь пройдёт от андалусских полей и Гранады до Мадрида, где юные гении спорили так, будто могли перекроить мир за один вечер. В центре повести – не только поэт, но и человек: смешливый, ранимый, влюбчивый, блестящий, скрывающий часть себя от общества, которое умело быть беспощадным. Его творчество будет рождаться не из отвлечённых идей, а из голосов, лиц, улиц, песен, страха и желания. Сюжет постепенно поведёт к Испании 1930-х годов – стране, где театр, песня и свобода внезапно становятся опасными. Финал известен истории, но путь к нему будет рассказан как движение живого человека, который до последнего выбирал голос вместо молчания.

Содержание

Глава 4
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Наталья Шпетная
Там, где поёт тень

Глава

Там, где поёт тень
Часть I
Пролог. Дорога без фонарей

Августовская ночь в Гранаде пахла пылью, нагретой за день известью и страхом. Страх имел здесь свой запах – не резкий, не кровавый, а сухой, как старая бумага, которую держали возле свечи слишком долго.

Машина шла без спешки.

В темноте дорога казалась не дорогой, а ошибкой земли: серой полосой между оливами, рытвинами, камнями и чёрными стенами холмов. Фары выхватывали то белый ствол, то кучу щебня, то лицо одного из людей в кузове – лицо появлялось на миг и снова исчезало, будто кто-то листал книгу с вырванными страницами.

Федерико Гарсиа Лорка сидел молча.

Он умел молчать так же выразительно, как говорить. Это знали все, кто сидел с ним за столом, кто слышал, как он вдруг переставал шутить посреди ужина, откидывался на спинку стула и слушал не собеседника, а что-то позади слов.

В такие минуты казалось: он прислушивается к дому, к улице, к далёким копытам, к мёртвым, если те всё ещё спорят между собой в андалусской земле.

Теперь он тоже слушал.

Мотор кашлял. Где-то слева стрекотали цикады, хотя ночь уже истончилась, и воздух перед рассветом сделался холоднее. Один из вооружённых людей на переднем сиденье ругнулся: колесо попало в яму, машина дёрнулась, и чей-то локоть больно ударил Федерико в бок.

– Осторожнее, – сказал он тихо.

Человек рядом повернул голову.

– Что?

– Ничего. Просто вы могли бы быть внимательнее к дороге. Она, в конце концов, ни в чём не виновата.

В кузове кто-то коротко хмыкнул. Смех сразу оборвался: смешное в такие часы было подозрительно. Даже случайная улыбка могла показаться неблагонадёжной.

Федерико почувствовал, как пересохли губы. Он провёл языком по верхней губе и подумал вдруг не о смерти, не о стихах, не о матери – а о рояле в доме. О крышке, которой в детстве нельзя было хлопать. О пальцах матери, худых, быстрых, строгих. О том, как он сам сначала хотел быть музыкантом и долго не понимал, что стихи – это тоже музыка, только без защиты нотной бумаги.

Впереди дорога пошла вниз.

Один из людей, сидевших напротив, зажёг папиросу. Ого-

нёк на секунду осветил его рот: молодой, нервный, почти мальчишеский. Он затянулся жадно и, заметив взгляд Федерико, отвёл глаза.

– У тебя есть ещё одна? – спросил Лорка.

Молодой человек замер.

– Что?

– Папироса. Если не жалко.

Тот посмотрел на старшего. Старший не ответил. Тогда юноша достал пачку, вытряхнул папиросу и протянул.

Федерико взял её осторожно, как берут цветок у ребёнка. Огонь поднесли не сразу. Чиркнула спичка. В слабом пламени его лицо стало почти прежним: широковатое, тёплое, с глазами, которые слишком многое успевали заметить.

– Спасибо, – сказал он.

Юноша вдруг спросил:

– Вы правда писали пьесы?

Старший резко повернулся:

– Заткнись.

Но Федерико уже улыбнулся.

– Писал. Некоторые даже ставили. Представляете, люди платили деньги, чтобы смотреть, как другие люди страдают на сцене. Испания – удивительная страна: за чужое горе она платит охотнее, чем за чужую радость.

На этот раз никто не засмеялся.

Машина остановилась.

Дальше была тишина. Не абсолютная – такой тишины не

бывает. Где-то в кустах шуршала ночная птица, двигатель потрескивал, остывая, человек с винтовкой сплюнул в пыль. Но всё это словно происходило в другой комнате. Здесь же, возле дороги без фонарей, стояла та тишина, которую Федерико знал с детства: перед песней, перед ударом, перед тем, как женщина в чёрном платке поднимет голову и начнёт плакать не своим голосом, а голосом всех женщин своего рода.

Ему велели выйти.

Он вышел.

Под ногами хрустнул камешек. Небо на востоке чуть побледнело. В этой бледности уже угадывался день, которому было всё равно, кто доживёт до его наступления.

Федерико оглянулся на оливы.

Они стояли неподвижно, как свидетели, которые всё видели и всё равно будут молчать.

И вдруг память, эта старая цыганка, вошла без стука и сказала: «Нет, не отсюда. Начинай раньше. Начинай с земли».

Глава первая. Земля, которая помнила песни

В Фуэнте-Вакерос земля была не фоном, а родственницей. Её не описывали – с ней считались. Она кормила, капризничала, трескалась от жары, пахла после дождя так сильно, будто раскрывала старые сундуки. Весной она становилась мягкой и тёмной; летом твердела, как характер упрямой женщины; осенью принимала семена с видом королевы, которой наконец принесли должные дары.

Федерико родился среди этой земли, в доме, где всё имело свой голос: двери стонали, кувшины звенели, лестница жаловалась, а женщины разговаривали так, будто продолжали песню, начатую их матерями.

Отец его, дон Федерико Гарсиа Родригес, был человеком хозяйственным и крепким. Он любил землю не сентиментально, а по-мужски: проверял, мерил, покупал, продавал, спорил, считал. В его ладонях всегда оставалось что-то от поля – не обязательно грязь, иногда просто тяжесть. Он не был груб, но жизнь приучила его верить прежде всего тому, что можно потрогать: урожаю, дому, животным, деньгам, погоде и людям, если они вовремя возвращали долг.

Мать, донья Висента Лорка Ромеро, принадлежала к иному царству. В её мире важнее были звуки, книги, тетради, тон голоса, нота, взятая не там, взгляд ребёнка, который ещё не умеет объяснить, отчего ему страшно. Она играла на фортепиано и учила детей так, будто образование было не дорогой в город, а способом не дать душе зарасти бурьяном.

Федерико позже часто думал, что отец дал ему землю, а мать – слух к тому, что земля говорит.

В детстве он не был мальчиком, который сразу бежит к драке, к дереву, к речке. Он мог подолгу наблюдать. Сидел где-нибудь у стены, щурился от солнца и слушал взрослых. Его принимали за тихого, пока он внезапно не начинал изображать соседку, священника, торговца мулами или тётушку, которая каждое воскресенье жаловалась на печень, хотя ела

с завидной решимостью.

– Федерико! – говорила мать, стараясь быть строгой. – Нельзя передразнивать старших.

– Я не передразниваю, мама, – отвечал он с невинным лицом. – Я сохраняю их для истории.

– Для какой ещё истории?

– Для той, которая начнётся, когда они перестанут говорить.

Донья Висента отворачивалась, чтобы скрыть улыбку.

Однажды в дом пришла соседка, широкая, жаркая, в чёрном платье, с грудью, на которой могла бы уместиться целая корзина персиков. Она принесла яйца и новость.

– У Пепы опять жених сбежал, – объявила она прямо с порога.

– Как сбежал? – спросила одна из женщин.

– Ногами, как все порядочные мужчины.

Федерико, сидевший под столом с деревянной лошадкой, высунул голову.

– А непорядочные чем бегут?

Соседка наклонилась и посмотрела на него.

– Языком, мальчик. Запомни. Самые опасные мужчины бегут языком.

– Тогда священник быстрее всех в деревне, – сказал Федерико.

На кухне наступила страшная пауза, а потом служанка прыснула так громко, что уронила ложку. Соседка перекре-

стилась, но смеялась тоже.

– Этот ребёнок доведёт вас до беды, донья Висента.

Мать посмотрела на сына не без тревоги.

– Или до сцены, – сказала она.

Тогда ещё никто не знал, что часто это почти одно и то же.

По вечерам деревня менялась. Днём всё было ясно: кто богат, кто беден, у кого хороший мул, у кого дочь засиделась, кто с кем поссорился из-за межи. Но вечером, когда жара уходила из стен, а женщины выносили стулья к дверям, порядок вещей размягчался. Появлялись песни. Старики рассказывали истории о мёртвых так буднично, словно те жили в соседней комнате и просто редко выходили. Дети пугали друг друга ведьмами, цыганами, душами некрещёных младенцев, а потом сами боялись добежать до колодца.

Федерико слушал.

Его особенно завораживали плачи – не детские, не капризные, а женские, обрядовые, глубокие. Когда умирал кто-нибудь в деревне, дом покойного открывался, как рана. Женщины входили туда, садились у стен, и через некоторое время начинался голос. Не сразу песня, не сразу слова. Сначала – звук, похожий на то, как ветер ищет щель под дверью. Потом он крепчал, поднимался, и уже нельзя было понять, кто плачет: эта женщина, её мать, её бабка, сама земля или смерть, которой тоже иногда хотелось быть услышанной.

Маленькому Федерико запрещали подходить близко к покойникам. Но запреты в деревне имеют одну слабость: они

произносятся слишком громко, и дети сразу понимают, где начинается интересное.

Однажды он прокрался к дому, где умер старый батрак. Дверь была приоткрыта. Внутри пахло воском, уксусом, влажной тканью и цветами, которые уже начали уставать от своей торжественности. На кровати лежал человек с лицом, похожим на высушенный плод. У стены сидела его дочь и раскачивалась, бормоча:

– Ай, отец мой, кто теперь скажет земле, где ей рожать…

Федерико стоял у порога, не дыша.

Сзади кто-то положил руку ему на плечо. Он вздрогнул.

Это была мать.

Она не стала ругать. Только вывела его на улицу и присела перед ним.

– Ты испугался?

Он подумал. Испугался ли? Да. Но страх был не таким, как от темноты или собаки. Это был страх, в котором жило притяжение.

– Он слышит? – спросил Федерико.

– Кто?

– Умерший.

Донья Висента погладила его по волосам.

– Не знаю.

– А зачем тогда они плачут словами?

– Чтобы слышали живые.

Этот ответ он запомнил.

Много лет спустя, когда женщины его пьес будут говорить так, будто каждая фраза несёт кувшин воды через пустыню, когда невесты будут бежать навстречу судьбе, матери – проклинать ножи, а старые дома – запирать дочерей в белых комнатах, в этих голосах останется тот деревенский урок: мёртвым, может быть, уже ничего не нужно; живым нужно произнести боль, иначе она начнёт говорить вместо них.

В Фуэнте-Вакерос музыка была всюду, хотя никто не называл её высоким словом. Пели на крестинах, на свадьбах, за работой, после вина, при ссорах, из-за любви и без всякой причины. Песня могла быть непристойной, святой, смешной, жестокой, глупой, древней. Иногда всё сразу.

Особое место занимали цыганские голоса.

О цыганах в деревне говорили с восхищением, недоверием, завистью и страхом. Их обвиняли в краже кур, в дурном глазе, в слишком красивых дочерях, в слишком свободной походке, в том, что они знают такие песни, от которых приличные люди начинают думать неприлично. Они появлялись на праздниках, на ярмарках, у кузниц, возле дорог. Мужчины с тёмными лицами, женщины с цветами в волосах, дети, умеющие смотреть так, будто уже поняли о мире больше, чем местный нотариус.

Однажды вечером во двор к Гарсиа пришёл старик с гитарой. Его позвал кто-то из работников отца. Старик был сухой, крючковатый, с глазами, где смех и усталость давно договорились не мешать друг другу.

– Он знает старые песни, – сказал батрак. – Такие, что даже коза перестанет жевать.

– Коза умнее некоторых людей, – ответил старик. – Она хотя бы молчит, когда не понимает.

Дон Федерико нахмурился, но старика оставил: ужинали во дворе, вечер был тёплый, да и гости любили развлечение.

Старик сел, настроил гитару. Долго крутил колки, будто разговаривал с капризным ребёнком. Потом ударил по струнам – не громко, но так, что воздух стал внимательным.

Федерико сидел рядом с матерью. Ноги не доставали до пола.

Старик запел.

Голос был некрасивым, если красотой считать гладкость. Он царапал, ломался, уходил в нос, вдруг раскрывался на высокой ноте и падал вниз, как человек, которого толкнули со скалы. Но в нём было то, чего не могла дать аккуратная музыка гостиной: правда без причёски.

Песня рассказывала о заключённом, о матери, о коне, который вернулся без всадника, о луне над дорогой. Взрослые слушали с видом людей, давно знающих эти истории. Федерико слушал так, будто услышал собственное имя в чужом сне.

Когда старик закончил, мальчик спросил:

– Почему он не убежал?

– Кто? – старик прищурился.

– Заключённый.

– Потому что песня была бы короче.

Во дворе засмеялись.

– А если бы он всё-таки убежал?

Старик посмотрел на него внимательнее.

– Тогда его поймали бы в другой песне.

Этот ответ тоже остался при нём.

Ночью Федерико не спал. Он слышал, как в доме скрипят балки, как отец кашляет за стеной, как кто-то из слуг закрывает ставни. Ему казалось, что песня старика ещё ходит по двору и не может найти выхода. Он представлял заключённого, который бежит через поле, но каждое дерево оказывается решёткой, каждая дорога – строкой, а луна смотрит сверху с холодным любопытством.

Он ещё не знал слова «судьба». Но уже чувствовал её ритм.

Глава вторая. Мать играла – дом слушал

В доме Гарсиа фортепиано занимало место почти человеческое. С ним считались. Его не двигали без причины, не ставили на него мокрые чашки, не позволяли детям лазить под крышку, хотя именно это Федерико и делал при первой возможности. Ему нравился запах дерева, лака, пыли и струн – запах спрятанного механизма, который ждал прикосновения, чтобы заговорить.

Донья Висента садилась за инструмент не торжественно, а просто, как садятся писать письмо. Спина прямая, голова

чуть наклонена. Она могла играть Шопена, народную мелодию, церковный гимн, упражнение для учеников. Дом при этом менялся. Даже отец, проходя мимо, начинал ступать тише, хотя потом ворчал:

– От музыки пшеница быстрее не растёт.

– Зато дети растут иначе, – отвечала она.

– Главное, чтобы не слишком иначе.

Мать не отвечала. В таких случаях молчание было её самым точным аргументом.

Федерико рано понял: музыка не просто звучит. Она переставляет внутри человека мебель. После одной мелодии хочется смеяться, после другой – просить прощения, хотя не знаешь у кого, после третьей – выбежать в поле и сделать что-нибудь невозможное: например, стать птицей, умереть героем или признаться в любви тому, кому нельзя.

Он учился играть, но его собственная натура мешала дисциплине. Он мог повторять упражнение пять минут, десять, пятнадцать, а потом вдруг начинал изменять мелодию, вставлять смешные паузы, превращать марш в похоронную процессию, а церковный мотив – в танец хромой курицы.

– Федерико, – говорила мать, – ноты написаны не для украшения страницы.

– Но, мама, они сами хотят в другое место.

– Ноты ничего не хотят.

– Это ты так думаешь, потому что они тебя боятся.

Он был ребёнком ласковым, но не послушным. Вернее,

послушание в нём продолжалось ровно до той минуты, пока воображение не предлагало более интересное занятие. Он мог с одинаковой серьёзностью рассматривать жука на подоконнике, слушать разговор о продаже земли, придумывать похороны для сломанной куклы сестры и допытываться, почему Бог, если Он вездесущ, позволяет паукам жить за иконами.

Религия в детстве окружала его, как окружает воздух: кресты, мессы, праздники, колокола, святые на стенах, женщины в чёрном, запах ладана, строгие лица священников, сладость процессий, ужас ада. Но Федерико с самого начала воспринимал её не как систему правил, а как театр, где каждый предмет имел значение. Свеча – не просто свеча. Плащ Богоматери – не просто ткань. Колокол – не просто металл. Даже грех, о котором говорили шёпотом, становился почти персонажем: ходил за людьми, подсматривал, ждал, когда они ошибутся.

Однажды после мессы он спросил мать:

– Если Бог всё видит, Ему не скучно?

– Что за вопрос?

– Ну, всё время видеть одно и то же: люди грешат, каются, снова грешат. Это как плохая пьеса.

– Федерико!

– Я не про Бога плохо. Я про драматургов.

Мать хотела рассердиться, но не смогла. Он обладал опасным даром: доводил мысль до края бездны, а потом улыбал-

ся так, будто всего лишь принёс цветок.

С возрастом в нём росло странное соединение: праздничность и тревога. Он любил маскарады, шутки, музыку, наряды, домашние спектакли. Мог выйти к гостям с полотенцем вместо мантильи, изображая обиженную вдову, и за пять минут довести взрослых до слёз от смеха. Но потом уходил в комнату, садился у окна и становился таким неподвижным, что мать невольно подходила проверить, не случилось ли чего.

– О чём ты думаешь?

– О том, почему люди смеются, когда им страшно.

– Тебе страшно?

– Не сейчас.

– А когда?

Он пожал плечами.

– Когда всё слишком тихо.

Донья Висента не знала, что отвечать. Матери часто первыми замечают в детях будущее, но не имеют права назвать его. Назовёшь – и словно подтолкнёшь.

Школа давалась ему неровно. Не потому, что он был неспособен; напротив, ум его хватал быстро, но терпеть не мог идти строем. Учитель объяснял грамматику, а Федерико записывал в тетради фразу, услышанную утром от прачки. Учитель требовал решения, а он рисовал профиль соседа по парте с таким носом, что тот становился похож на римского императора, отлучённого от кухни.

– Гарсиа Лорка! – гремел учитель. – Повторите, что я только что сказал.

Федерико вставал.

– Вы сказали: «Гарсиа Лорка! Повторите, что я только что сказал».

Класс взрывался. Учитель краснел.

– Сядьте. И перестаньте быть умнее, чем положено.

Эту фразу он потом вспоминал часто. Испания вообще любила людей умных, но до определённого предела. Дальше начинались подозрения.

В доме бывали гости: родственники, землевладельцы, музыканты, знакомые матери, люди, говорившие о политике с таким видом, будто политика была больной собакой, которую все боятся пристрелить. Ребёнку позволяли присутствовать не всегда, но он умел становиться незаметным. Сидел в углу, листал книгу, а сам слушал.

Говорили о короле, о землях, о бедности, о рабочих, о церкви, о новых идеях, которые приходили из городов и портили молодёжь. Один старый знакомый отца однажды сказал:

– Испанию спасёт порядок.

Другой ответил:

– Испанию уже столько раз спасали порядком, что она еле жива.

– А вы, значит, за беспорядок?

– Я за то, чтобы голодный ел.

– Красиво сказано. Почти преступно.

Федерико поднял глаза от книги. Ему понравилось это «почти». В Испании многое было почти: почти свобода, почти справедливость, почти разговор, почти любовь. Между словом и делом всегда стояла фигура с ключами.

Позже, когда он станет взрослым, его будут пытаться определить: левый, правый, народный, буржуазный, цыганский, андалусский, испанский, всемирный, опасный, безобидный, свой, чужой. Он будет ускользать от ярлыков не из хитрости, а потому, что живой человек всегда шире таблички. Но в детстве он уже видел: мир устроен так, что люди сначала придумывают клетку, а потом удивляются, почему птица поёт печально.

В юности его всё сильнее тянуло к Гранаде.

Гранада стояла рядом не только географически. Она присутствовала в разговорах, в семейных поездках, в названиях улиц, в рассказах о дворцах, садах, маврах, королях, крови, изгнании. Гранада была городом, где история не лежала в книгах, а выглядывала из-за решёток балконов.

Когда семья перебралась туда, Федерико почувствовал не переезд, а вступление в более сложную мелодию.

Глава третья. Гранада: город с ножом под плащом

Гранада умела быть прекрасной так, что это почти раздражало. Слишком уж многое в ней просило взгляда: Альгамбра на холме, белые дома Альбайсина, кипарисы, фонтаны,

дворики, где вода говорила мягче людей, горы вдали, снег Сьерра-Невады, розовеющий на закате, как щека девушки, которая услышала непозволительный комплимент.

Но красота Гранады не была мирной. Под ней чувствовалось лезвие.

Этот город помнил завоевания, молитвы на разных языках, изгнания, костры, сделки, предательства, песни. Здесь католические колокола звонили над камнями, которые ещё хранили арабский шёпот. Здесь вода текла по каналам с такой древней уверенностью, будто все новые власти – временные жильцы.

Федерико гулял по городу жадно. Он любил улицы, где можно было заблудиться не потому, что не знаешь дороги, а потому, что каждая стена предлагает другую судьбу. Любил наблюдать за людьми: студентами, священниками, торговцами, девушками у окон, старухами, которые могли одним взглядом вынести приговор всему роду. Любил таверны, где песни становились хриплыми от вина, и дома, где говорили о литературе, музыке, Испании и будущей жизни с такой серьёзностью, будто всё это назначено на следующий четверг.

Он учился, писал, музицировал, спорил. Его первые литературные опыты ещё не имели той силы, которая позже ударит по испанской сцене, но уже обладали слухом. Он умел схватить интонацию. Мог услышать фразу на рынке и потом повторить её так, что человек, сказавший её, становил-

ся персонажем. В нём всё собиралось: народная речь, церковная торжественность, детские страхи, городские сплетни, любовь к старым песням, тоска по чему-то, что ещё не имело имени.

В Гранаде он встретил людей, которые относились к искусству не как к украшению жизни, а как к самой жизни. Это было своеобразное общество. В нём забывали есть, зато могли три часа спорить о строке. Там уважали музыку, стихи, театр, живопись, но ещё больше – способность быть не похожим на соседского нотариуса.

Один из молодых знакомых, сухой и язвительный, сказал ему как-то в кафе:

– Федерико, у вас талант провинциальный.

– Это приговор или комплимент?

– Пока диагноз.

– Тогда лечить не станем, – ответил Лорка. – Провинция – это место, где смерть знает людей по именам. В столице она, наверное, пользуется списками.

Собеседник рассмеялся.

– Вы говорите как поэт.

– А вы как аптекарь, который продаёт яд мелкими дозами.

Он был общителен и нравился людям почти против их воли. Даже те, кто считал его слишком шумным, слишком театральным, слишком чувствительным, всё равно ждали его появления. С ним комната оживала. Он мог сесть за фортепиано и сыграть народную песню так, что пожилые женщи-

ны начинали украдкой вытирать глаза. Мог прочесть свои строки, смутиться, тут же пошутить над собой и через минуту уже изображать важного профессора, который потерял мысль и делает вид, что так было задумано.

Но за этим весельем всё отчётливее проступало другое.

Его влекла красота – не отвлечённая, не музейная, а живая: линия шеи, рука на струнах, голос в соседней комнате, юношеский смех, слишком долгий взгляд. Он рано понял, что его желания не укладываются в тот порядок, который мир вокруг считал единственным допустимым. Об этом не говорили прямо. В обществе существовало множество слов для греха, болезни, порока, насмешки – и почти не было слов для человеческой нежности, если она шла не по утверждённой дороге.

Он учился скрывать не всё, но главное.

Это не делало его лживым. Скорее раздваивало жизнь: одна часть сияла в гостиной, пела, спорила, смешила; другая стояла у закрытой двери и ждала, когда шаги в коридоре стихнут.

В одном гранадском доме, после музыкального вечера, он задержался у окна. Остальные перешли в столовую, где звенели рюмки и кто-то уже спорил о том, действительно ли Испания нуждается в обновлении или просто в хорошем сне. Рядом с Федерико оказался молодой человек, студент, кажется, права – высокий, с тёмными ресницами и выражением лица, которое у испанских юношей часто выдаёт желание

казаться старше своих страхов.

– Вы играете так, будто вспоминаете чужую жизнь, – сказал студент.

– Может быть, она была моей, пока я не отвлёкся.

– Вы всегда отвечаете шуткой?

– Нет. Иногда вопрос бывает недостаточно храбрым.

Студент посмотрел на него. Слишком прямо. На секунду воздух между ними стал плотнее.

– А если вопрос храбрый?

Федерико почувствовал, как где-то в доме громко рассмеялась женщина. Звук спас или разрушил момент – он так и не понял.

– Тогда, – сказал он мягко, – ответ может оказаться трусом.

Студент опустил глаза.

Они больше почти не говорили. Через неделю Федерико узнал, что тот уехал к семье. Через месяц забыл его фамилию. Но не забыл короткую паузу у окна, где возможная жизнь на миг показала лицо и тут же скрылась, как человек, заметивший слежку.

Такие мгновения потом возвращались к нему в стихах – не как воспоминания, а как раны, которые научились петь.

Тем временем Испания менялась медленно и нервно. Старое не уходило, новое не приходило – они толкались в дверях, мешая друг другу. В университетских кругах говорили о Европе, о свободе, о науке, о правах, о конце отсталости.

В церквях говорили о падении нравов. В семьях говорили о приличиях. На улицах – о хлебе.

Федерико всё чаще чувствовал: Гранада дала ему корни, но если он останется здесь навсегда, корни станут верёвками.

Мадрид манил не столичным блеском. Манила возможность встретить людей, которые не будут требовать сначала объяснить, зачем тебе искусство. В Мадриде, говорили, есть Residencia de Estudiantes – место, где молодые люди читают, спорят, ставят опыты, смеются над стариками и иногда становятся знаменитыми раньше, чем научатся платить по счетам.

– Ты хочешь уехать? – спросила мать.

Они сидели вечером в комнате, где на пюпитре лежали ноты. Окно было открыто. С улицы доносились шаги, далёкий лай, голос продавца, задержавшегося допоздна.

– Хочу попробовать.

– Музыка?

– И музыка. И книги. И театр. Там всё сразу.

– Всё сразу бывает только в юности, – сказала она.

– Значит, надо спешить.

Донья Висента посмотрела на сына. Он говорил легко, но она слышала под этой лёгкостью нетерпение, почти боль. Матери слышат то, что дети тщательно не произносят.

– Мадрид не добрее Гранады.

– Я не ищу доброты.

– А что?

Он задумался.

– Простора.

Она встала, подошла к фортепиано, коснулась крышки.

– Простор иногда страшнее тесноты.

– Знаю.

– Нет, – сказала мать. – Пока не знаешь.

Он улыбнулся и поцеловал ей руку.

– Тогда пришлю письмо, когда узнаю.

Она хотела сказать ещё многое: чтобы был осторожен, чтобы не доверял каждому восхищённому взгляду, чтобы не тратил сердце на людей, которые любят только собственное отражение в чужом таланте, чтобы помнил – мир умеет наказывать тех, кто слишком заметен. Но вслух сказала другое:

– Возьми тёплую одежду.

Федерико рассмеялся.

– Мама, я еду в Мадрид, не в Сибирь.

– Тем более. В городах холоднее, потому что там люди делают вид, что им не холодно.

Он запомнил и это.

Перед отъездом он долго ходил по Гранаде. Поднимался к Альгамбре, смотрел на город, на крыши, башни, узкие улицы, на землю, которая держала слишком много прошлого. Ему казалось, что он покидает не место, а хор голосов. Каждый из них говорил: вернёшься. Никто не говорил – каким.

На вокзале отец держался практично: проверил багаж, дал наставления насчёт денег, знакомств, учёбы. Мать поправи-

ла ему воротник, хотя он был поправлен уже трижды. Родные говорили одновременно, носильщики кричали, поезд дышал паром и углём, как большое нетерпеливое животное.

– Пиши, – сказала мать.

– Обязательно.

– Не только когда нужны деньги.

– Тогда придётся писать очень редко, – вмешался отец.

– Папа, – сказал Федерико, – если я стану великим, долги будут выглядеть как часть биографии.

– Сначала стань человеком, который вовремя платит за жильё.

– Это гораздо труднее.

Отец хотел нахмуриться, но усмехнулся.

Поезд тронулся.

Гранада стала отступать. Сначала медленно, как обиженная женщина, потом быстрее. Федерико смотрел в окно, пока лица на платформе не смешались с дымом. Он чувствовал радость, тревогу, вину, ожидание. Внутри него словно открылась дверь, за которой шумели незнакомые голоса.

Он ещё не знал, что в Мадриде встретит людей, которые будут смеяться громче, думать дерзко и ранить точнее, чем принято в провинциальных гостиных. Не знал, что там появится юноша с глазами фанатика и художника, который однажды станет Сальвадором Дали. Не знал, что дружба может быть спектаклем, исповедью, дуэлью и пыткой. Не знал, что его собственное сердце окажется менее послушным, чем лю-

бая толпа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.